



18+

# ПРАВО НА ТЯЖЕСТЬ

Н. ГУРИНА, А. РУДЕНКО

Они думали, что их дом — это омут.  
Оказалось — весь мир.

Наталья Гурина

**Право на Тяжесть**

«Издательские решения»

**Гурина Н.**

Право на Тяжесть / Н. Гурина — «Издательские решения»,

Кикимора и Водяной прожили вместе сто лет. Сто лет она пыталась его согреть, а он закрывался ледяной бронёй, потому что когда-то получил плевков. Их любовь стала удавкой, забота — наждаком. А болото тем временем умирало. «Право на тяжесть» — это история о любви, которая не летает, границах, которые не ломают, травме, которая передаётся от отца к сыну, и войне, в которой побеждает самый тяжёлый. Потому что корням не нужно быть лёгкими.

© Гурина Н.

© Издательские решения

## Содержание

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Глава 1. Сухая трава и уходящая вода        | 6  |
| Глава 2. Воск, ил и плошка                  | 12 |
| Глава 3. Голос в голове и земля под ногтями | 18 |
| Конец ознакомительного фрагмента.           | 21 |

# **Право на Тяжесть**

**Наталья Гурина**

**Анна Руденко**

© Наталья Гурина, 2026

© Анна Руденко, 2026

ISBN 978-5-0070-8212-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Глава 1. Сухая трава и уходящая вода

Весна в тот год заплутала где-то в верховьях. Воздух стоял над болотом густой, липкий, он пах ржавым чугуном и старой водой из заброшенного колодца. На язык оседала сладковатая прель. Глубокая. Тягучая. Тоска без дна.

Кикимора стояла на пороге хибары Лобасты и смотрела, как старуха возится со своим ведром. Старухин взгляд, мутный, как болотная вода, цеплялся за спину гостьи — прямую, жёсткую, застывшую. От этой спины шёл холод. Глухой, спрессованный, идущий из самой сердцевины, где всё уже умерло.

— Касатка, — голос Лобасты проскрипел, как камыш о камень в сухой год. — Ты ж за корнем плакун-травы шла. Я отложила тебе.

Кикимора замерла. Протянула руку назад — ладонь раскрылась сама. Привычка. Старая, как её обмороженные пальцы. Брать. Держать. Тащить. Лобаста, воровато оглянувшись через плечо, вложила в эту ладонь сухой корешок, лёгкий, точно птичья косточка. Ладонь Кикиморы осталась холодной. И твёрдой.

— Только ты это... — Лобаста замялась. Пальцы её теребили край передника, скручивали ткань, сминали. Сказать надо было. Страх перед чужой, спрессованной болью оказался сильнее. — Слышала я, твой-то... скис совсем. Тепла не даёт. Болото наше мёрзнет, рыба ушла. А вода...

Она запнулась, уставилась в маслянистую гладь у свай. Наклонилась, с натужным скрежетом вытянула деревянное ведро. Дно покрывала жидкая, холодная грязь.

— Вода уходит, касатка. Прямо уходит. Я ведро опускаю — оно скребёт по дну. Раньше-то с краю черпала, а теперь до середины настила дотянуться — и то пусто. — Лобаста помолчала, подбирая слова, и добавила почти шёпотом: — Я мимо твоего омута шла. Свай ваши видала. Они ж на пол-аршина выше торчат, чем раньше. Дом ваш скоро на сухом стоять будет.

Кикимора повернулась. В глазах её, лихорадочно блестящих, стояла злая пустота. Взгляд скользнул по ведру, по старухе, по сухим ивам с белесыми ветвями. Ветви шелестели — бумажно, предсмертно. В голове Кикиморы билась только одна точка боли. Одна. На дне омута. Чужая беда туда не вмещалась.

— У тебя свои заботы, Лобаста. — Голос глухой, как толща стоячей воды. — А у меня свои.

Сунула корень в карман передника и зашагала прочь. Шаг. Другой. Третий. Быстрее. Почти побежала. Словно убегала от старухиных слов, от тихого, всасывающего шёпота. Шёпот полз отовсюду — из-под мха, из трещин в настиле, из сухих раковин-беззубок. Шёпот уходящей воды.

Настил петлял между кочками. Кикимора шла быстро — и вдруг остановилась. Впереди, у развилки, где тропа уходила к дальним плёсам, из тумана проступили сваи её дома. Четыре дубовых столба, почерневших, покрытых слизью. Она смотрела на них — и видела то, о чём говорила старуха. Чёрная маслянистая полоса на дереве — старая отметина воды — висела над поверхностью. Сухая. Потрескавшаяся. Свай торчали выше, чем должны были.

Кикимора моргнула. Мозг, занятый одним — он там, на дне, он умирает, — не дал знаку пробиться. Смотрела на сваи и проходила сквозь них взглядом. Повернулась. Пошла дальше. Быстрее.

Лобаста осталась на пороге.

Смотрела вслед Кикиморе, пока прямая спина не растаяла в тумане. Потом перевела взгляд на ведро. Вода внутри была мутной, с радужной плёнкой. Протухшая. Она знала, что вода протухла. Знала уже давно. Каждое утро опускала ведро в чёрную воду у свай — и каж-

дое утро вода пахла всё слаще, всё мертвее. Но продолжала черпать. Ставила ведро на стол. Смотрела на него. Ждала.

Не могла сказать, чего именно ждёт. Может быть, что вода станет прозрачной сама собой. Может быть, что вернётся течение и унесёт муть. Может быть, что сын...

Пальцы сжали край передника. Ткань была ветхой, вытертой до дыр от многолетней привычки тереть, скручивать, сминать. Перебирала край — туда-сюда, туда-сюда, — и этот ритм успокаивал её. Ритм ожидания. Ритм существования, которое научилось превращать неподвижность в добродетель.

Вошла в хибару. Внутри пахло сушёной мятой, прелым камышом и старой водой. На столе, на чистой тряпице, лежали пучки трав — зверобой, плакун-трава, горькая полынь. Собирали их каждое лето. Раскладывала. Перебирала. Связывала в пучки. Заготовки на случай, если кто-то придёт. Если кому-то понадобится помощь. Если хоть что-то в этом мире ещё можно вылечить.

Села на лавку. Ведро стояло перед ней. Вода не шевелилась. Лобаста смотрела на неё и видела своё лицо — мутное, искажённое, плывущее.

— Река только забирает, — прошептала она сама себе. — А болото хранит.

Не знала, правда ли это. Повторяла эти слова уже сотню лет. Когда-то они приносили утешение. Теперь они звучали как приговор.

Где-то далеко, на границе слышимости, ухнул филин. Один раз. Второй. И замолк. Болото притаилось. Даже ветер перестал шевелить сухие ветви ив.

Лобаста подняла голову. Знала эту тишину. Так болото замирает перед тем, как вода уходит ещё на палец. Так оно замирает перед тем, как что-то приходит.

— Навь, — сказала она вслух. Слово упало в тишину и осталось лежать, тяжёлое, как камень.

Перекрестилась на сухую вербу за окном. Пальцы дрожали. Сплюнула в жидкую грязь у порога и прошептала в пустоту, ни к кому:

— Когда духи в разладе — вода уходит. А когда вода уходит... Навь приходит.

На дальнем плёсе, куда ещё дотягивалась тень от сухих ив, сидела выдра. Старая, с седой шерстью вокруг морды, с потрескавшимися усами. Помнила Водяного молодым. Помнила, как он выныривал из омута, хохоча, разбрызгивая вокруг тёплые капли, и как вода вокруг него кипела жизнью. Теперь вода стояла мёртвая. Выдра сидела на камне и смотрела в чёрную гладь. Ничего не ждала. Просто знала: вода уходит. Рыба ушла. Скоро уходить и ей.

Соскользнула с камня. Проплыла вдоль берега, туда, где корни старой ивы уходили в чёрную воду. Там, под корнями, было её логово. Забралась внутрь, свернулась клубком и закрыла глаза. Останется здесь, пока вода не уйдёт совсем. А потом — видно будет.

Филин на сухой иве повернул голову. Смотрел на выдру, на её мокрый след на камне, на расходящиеся круги на воде. Потом перевёл взгляд на восток, где над болотом поднимался туман — густой, белёсый, пахнущий чужим. Филин знал этот туман. Не ухал. Просто смотрел.

Туман полз медленно. Начинался там, где вода уже ушла совсем, где дно потрескалось сухой коркой, где мёртвые раковины лежали грудой, белея на сером торфе. Туман был холодным. Пах прелой листвой, старыми костями и чем-то сладким — так пахнет воздух в заброшенном погребке, когда открываешь крышку впервые за сто лет. Навь просыпалась. Она не нападала. Она просто занимала пустоту, как вода занимает яму. Закон был прост: где кончается жизнь — начинается Навь. Не добро. Не зло. Закон.

Кикимора ступила на крыльцо. Доски молчали. Они впитали столько холода, что стали глухими, как дерево, пролежавшее век на дне. Толкнула дверь. Та подалась с тихим, прилипающим звуком — будто не хотела впускать.

Внутри оказалось холоднее, чем снаружи. Такой холод приходит, когда дом перестаёт дышать. Очаг из дикого камня, сложенный когда-то их руками, стоял мёртвый. Зола слежалась

в серый жирный пласт. Пахло кислым, спёртым — так пахнет вода в дупле старого дерева, если её забыть вычерпать до весны. Пахло сладковатым, тошнотворным. Застоявшейся тиной. Прелыми водорослями. Тем, что остаётся, когда вода уходит, а то, что жило в ней, начинает гнить на воздухе.

Сбросила сапоги. Мешок с травами упал у порога с глухим стуком — камнем, а не сухими листьями. Прошла в дальний угол, где в полу чернела прорубь — широкая, в сажень поперечником, прямая дорога на дно, к нему. Люк был открыт.

Опустилась на колени у кромки. Вода в проруби лежала густая, как перестоявшее тесто. Стояла — без волны, без ряби. Словно кто-то залил в люк чёрное стекло и дал ему застыть навсегда. От воды не поднималось ни пара, ни запаха. Из неё ушло всё. Тепло. Движение. Звук.

Тогда поднялась. Подошла к тяжёлому дубовому сундуку в углу. Крышка, окованная почерневшей медью, открылась с мучительным, протяжным скрипом. Внутри пахло сухой травой, старой овчиной и мышами. Перебирала вещи — грубые, домотканые, пахнущие прошлым. Пальцы, багровые и распухшие после утренней попытки, нащупали на самом дне, под слоем бересты, рубаху.

Он носил её, когда был молодым. Когда чешуя его играла на солнце тёмной медью, когда вода в омуте кипела ключом и он выныривал из проруби, хохоча, отфыркиваясь, разбрызгивая вокруг себя тёплые, живые капли. Рубаха была из грубого, мягкого льна, выбеленного до цвета топлёного молока. По подолу шла вышивка — кривые, неумелые узоры красной нитью, которую она сама выводила иглой сотню лет назад. Узоры обережные, женские. Те, что призывают мужа к дому. К жене. К жизни.

Прижала рубаху к лицу. Пахло сыростью. Временем. Мышиным помётом. Ни капли его запаха — речной воды, нагретого камня, чешуи. Время съело его, как съедало всё остальное.

Лён царапал кожу сухой осокой, цеплялся за ссадины на плечах. Рубаха оказалась велика — он носил её на голое тело, и она болталась на его широкой груди. Кикимора утонула в ней до колен. Ткань сделала её больше, тяжелее. Словно она пыталась занять его место. Надеть его шкуру. Стать достаточно большой и твёрдой, чтобы он не смог вытолкнуть её снова.

Шаги привели обратно к проруби. И там, в глубине, дрогнуло.

Толчок. Один. Низкий, утробный. Прошёл сквозь пол, сквозь доски, сквозь колени, прижатые к холодному дереву. Так вздрагивает земля перед грозой. Так вздрагивает сердце перед последним ударом.

Сердце их дома — Источник. Первая кровь земли. Обещание, что жизнь продолжится, что мёрзлый торф оттаяет и выпустит первую клюкву, что самка бобра принесёт потомство, что болото останется болотом, а не станет могилой. Есть Источник — женщина зачнёт, зверь вернётся, лёд вскроется. Молчит — род гаснет, зверь уходит, вода превращается в мёртвый лёд, который не тает даже под летним солнцем.

Сейчас он вздрагивал, как загнанная лошадь перед падением. Она знала почему. Знала, кто перекрыл его своим телом, кто лежит на трещине в породе, прижимаясь к ней больной, известковой спиной, и запечатывает горячую воду в толще земли.

Кикимора откинула дубовую крышку до конца. Та ударилась о пол, и где-то под потолком осыпалась труха из тростника. Шагнула в темноту — сразу, без паузы, без внутреннего торга.

Вода сомкнулась тяжёлым, вязким одеялом. Холод обжал плечи ледяными пальцами, забрался под рубаху. Пахло тухлым яйцом, брошенным в колодец. Пахло прелой листвой — сладковато, тошнотворно. И до самого дна — едкий запах ила, который слишком долго лежал непотревоженным, копил в себе гниль и молчал.

Плыла вниз, вдоль дубовых свай. Когда-то они играли здесь в догонялки, и сваи сияли золотом и смолой, тёплые на ощупь, живые. Сейчас дерево стало мягким, губчатым, покрытым склизким налётом. Под пальцами шевелилась чужая слизь. Ракушки-беззубки, прилепившиеся

к дереву, стояли с раскрытыми створками. Пустые. Выеденные. Кто-то съел их изнутри и ушёл, оставив только известковые скорлупки, крошащиеся от прикосновения.

В центре чаши, прямо под хужиной, темнела трещина в породе — рваная рана в теле земли, откуда когда-то была горячая вода. На трещине, перекрывая её своим телом, лежал он.

Её муж. Её Водяной.

Тот, кого она помнила — мощный, обтекаемый, с широкой грудью, рассекающей речную гладь, с тёмно-медной чешуёй, — исчез. Перед ней лежало его тело. Рыхлое. Обвисшее. Чешуя стала цвета мокрой золы — серой, безжизненной. Плечи, когда-то широкие, обмякли, словно кости внутри растворились. Пальцы с перепонками и тёмными когтями прижимались к груди скрюченной судорогой вечной защиты.

Страшнее тела был налёт. Известковая корка покрывала плечи, спину, грудь — белесая, шершавая, с острыми краями. Лежала толстыми пластинами, спаивая чешую, сковывая каждое движение. Наросла за годы. За десятилетия. За век. Он сам себя замуровывал. Каждый раз, когда Кикимора приносила ему своё тепло, свою заботу, свою любовь — он брал их, а потом закрывался ещё на один слой. Его кожа выделяла эту известь, как рана выделяет гной, — барьер между собой и миром. Чтобы никто не мог прикоснуться. Чтобы никто не мог взять больше, чем он готов был отдать.

Лежал на Источнике, прижимаясь к нему больным телом, и тяжестью своей запечатал трещину. Горячая вода, которая должна была бить вверх — в омут, в болото, в мир, — заставлялась под ним. Остывала. Умирала. Он душил Источник своим телом, потому что это единственное, что у него осталось. Единственное, что он мог контролировать. И он собирался держать это. Вечно.

Кикимора смотрела на него, и внутри поднималась волна — ядовитая, зелёная. В ней смешалось всё: любовь, жалость, ярость, отчаяние, страх. И где-то на самом дне, глубоко, как затонувшее бревно, лежала брезгливость. К этой известке. К этой рыхлой чешуе. К этому запаху застоя. Ненавидела себя за эту брезгливость. И за это ненавидела его ещё сильнее.

Внутри щёлкнул древний инстинкт её рода. Хаос. Разложение. Грязь. Чистить. Сейчас же.

Подплыла ближе. Кожа её, тонкая и перламутровая там, где осталась целой, пошла тусклыми, грязно-зелёными пятнами — цветом обиды и паники. Так болотная вода цветёт рыской, когда её слишком долго не тревожат. Пальцы, всё ещё багровые, всё ещё саднящие после утренней попытки, впились в белесый налёт на его груди. Начала скрести.

Ногти, твёрдые, как речные ракушки, вгрызались в известку. Та поддавалась с отвратительным, скрежещущим звуком, крошилась, обнажая под собой тусклую, болезненную чешую. Кикимора работала с остервенением, с той слепой, яростной силой, которая приходит к утопающим за секунду до того, как лёгкие наполнятся водой. Не видела его лица. Не видела, как дрогнули веки, покрытые известкой, как сжались скрюченные пальцы. Видела только грязь, которую нужно убрать. Только болезнь, которую нужно вылечить. Только лёд, который нужно растопить любой ценой.

— Очнись. — Голос её в воде прозвучал глухим гулом. Пузыри сорвались с губ и ушли вверх, к чёрному льду, к проруби, к пустому дому. — Мы будем говорить. Сейчас. Я устала молчать. Я устала таскать всё одна. Я устала быть сильной за двоих. Очнись!

Где-то наверху, сквозь толщу чёрной воды, пробивался её собственный крик — искажённый, чужой. Водяной лежал неподвижно, но внутри него, там, где когда-то бился его собственный Ключ, что-то дрогнуло. Страх. Старый, вьевшийся в чешую, в кости, в самую его суть страх.

Он чувствовал её руки на своей груди. Она скребла. Пыталась пробиться. Хотела войти. Взять. Забрать. Согреться. Использовать.

«Она как тот мальчишка». Мысль холодная, ясная, очень старая. «Она придёт, возьмёт моё тепло, а потом скажет, что от меня пахнет тиной. Они все так делают. Сначала руки. Сначала „я помогу“. Потом брезгливость. Потом плевок. Потом „твое дело — греть, сиди и молчи“».

Сжал веки. Известь на них треснула. Руки, скрюченные столетием неподвижности, сжались в кулаки. Отдал ей всё, что мог. Остальное она возьмёт сама — через его труп. Пусть скребёт. Пусть рвёт ногти. Он — камень. А камни боли не чувствуют.

Это взорвало её.

Скребла с новой силой. Из-под ногтей текла чёрная, вонючая жижа — застоявшаяся слизь, смешанная с частицами извести. Не чувствовала, что ранит. Чувствовала только одно: он грязный, он больной, его нужно очистить. Если она его очистит, всё вернётся. Его смех. Весна. Жизнь. Если она будет достаточно сильно скрести, если она сдерет с него всю эту мёртвую корку, под ней окажется он — живой, тёплый, любящий. Должен оказаться.

Водяной молчал. Просто закрылся.

Вода вокруг него изменилась мгновенно. Никакой магии — физиология его народа, древняя, как сам мир. Последняя стена встала между ними. Как в тот раз.

Пальцы Кикиморы побелели сразу. Только что вода была просто холодной — и вдруг стала отсутствием. Кожа на подушечках, и без того содранная до мяса, лопнула, как перезревшая ягода. Холод вошёл в кости — абсолютный, звенящий. Он выключал мысли, чувства, всё. Попыталась отдернуть руки — и застряла. Кожа примёрзла к его известковой чешуе намертво, как язык примёрзает к железу на морозе. Рванулась — и оставила на панцире клочья собственной плоти, застывшие бурыми, стеклянными ошмётками.

Боль пришла с задержкой. Сначала — тишина. Звенящая, глухая. Потом — осознание того, что она сделала. А потом — боль. Такая, что перед глазами поплыли красные круги. Кикимора закричала — крик вышел пузырями, беззвучный, жалкий.

Тогда он медленно приоткрыл рот. Челюсть двигалась с трудом, ломая известковые наросты в уголках губ. Из горла вырвался низкий, утробный гул. Прошёл через воду, через её тело, через её кости.

— Уходи.

Никакой злости. Никакой ненависти. Констатация. Ты делаешь мне больно. Ты всегда делаешь мне больно. Я разучился впускать. Уходи, пока я не сделал с тобой того же, что сделали со мной.

Кикимора завывала. Вой без слов — чистая, животная мука. Упёрлась ногами в его дряблый, обвисший бок и оттолкнулась изо всех сил. Ледяная вода хлестнула по лицу, хлынула в ноздри, в уши. Метнулась вверх, цепляясь за дубовые сваи. Обмороженные пальцы скользили по склизкому дереву, оставляя чёрные и красные полосы — гниль со свай и кровь с её рук. Ногти ломались с сухим треском, который она не слышала, но чувствовала всем телом. Гребла почти вслепую, выталкивая себя из этой ледяной могилы, из дома, ставшего склепом, от существования, которое когда-то было её мужем.

Прорубь встретила её серым, мутным светом — светом пасмурного дня сквозь грязное окно. Ухватила за край люка ободранными, белыми пальцами, подтянулась на дрожащих руках и вывалилась на доски пола. Грудь ходила ходуном. Из горла вырывался хрип — механический, утробный звук умирающего животного.

Тишина. Только капли с потолка — редкие, тяжёлые. Кап. Пауза. Кап. Пауза.

И сквозь эту тишину — другой звук. Глубже пола, глубже воды, глубже ила. Чавканье. Медленное, влажное. Так засасывает грязь, когда вода уходит из-под корней. Так пьёт пустота. Болото пило само себя — где-то внизу, куда она только что ныряла. Кикимора слышала этот звук, лёжа на полу. Слышала — но осталась лежать. Сил встать уже не было.

Тело само свернулось калачиком на холодных, пыльных досках. Лоб прижался к обмороженным пальцам — чужим, онемевшим. Веки опустились сами. На правой скуле, там, где вода хлестнула её при отторжении, кожа стянулась в тонкий, блестящий пергамент. Серебристый шрам. Он останется навсегда.

Слёз не было. Вся вода ушла туда, в чёрную прорубь. Та, что осталась внутри, — застыла. Сухая, ломкая тишина. Как осока на старом настиле.

Туман на восточной границе болота сгущался. Переваливал через сухие кочки, заползал в трещины пересохшего торфа, обволакивал мёртвые раковины. Холодный. Пахнувший чужим. Навь занимала территорию — метр за метром, палец за пальцем. Она не спешила. Ей некуда было спешить.

Старая выдра в логове под корнями ивы вздрогнула во сне. Ей приснилась рыба — жирная, серебристая, та самая, что водилась здесь в изобилии, когда Водяной ещё дышал полной грудью. Рыба уплывала вниз по течению. Выдра плыла за ней. Течение ускорялось. Она просыпалась.

Филин на сухой иве ухнул — один раз, протяжно. Звук покатился над болотом, отразился от чёрной воды, замер в тумане. Ответа не было. Болото молчало.

А на дне, в самой глубокой яме, Водяной лежал неподвижно. Вода вокруг него остыла до той температуры, когда перестаёшь чувствовать границу между телом и миром. Слушал, как наверху, на досках, затихает её дыхание. Затихает — но остаётся. Она не ушла. Была там. Наверху. В их доме.

Сжал кулаки. Известка на костяшках треснула. Не заплакал — разучился плакать сто лет назад. Но внутри, глубоко под чешуёй, под известкой, под слоем ила, что-то дёрнулось. И замерло.

Лобаста сидела в темноте. Не зажигала лучину — жгла бы зря. Просто сидела, положив руки на стол, и смотрела на ведро. Вода в нём стояла неподвижно. Мутная. Мёртвая. Поднесла ладонь к поверхности, но не коснулась. Опустила руку.

— Я ждала, — сказала она вслух. Голос звучал сухо, как трение камыша о камень. — Я ждала. Я верила. Я думала, перебесится.

Замолчала. Тишина в хибаре была густой, вязкой. Такой тишины не бывает в живом доме. Живой дом скрипит, дышит, трещит половицами. Этот дом просто ждал. Как она.

— Река течёт, — прошептала Лобаста. — А я стою.

Не вылила воду. Ещё нет. Но ведро стояло на столе, и она смотрела на него не с надеждой, а с тяжёлым, спокойным знанием. Когда-нибудь она выльет. Когда-нибудь.

За окном, на востоке, туман подбирался ближе. Но пока он был далеко. Пока у них ещё оставалось время.

## Глава 2. Воск, ил и плошка

Ночь после возвращения с глубины Кикимора просидела за столом.

Хижина выстыла до звона. Очаг она растопила с опозданием — сначала просто сидела в темноте, прижав обмороженные пальцы к животу, и слушала капли с потолка. Капля. Удар. Капля. Удар. Ритм рваный, больной. У дома тоже сбилось сердце.

Подняла руки к свету лучины. Пальцы — белые, как мел, с синевой у костяшек. Подушечки содраны до мяса, из глубоких трещин сочилась сукровица, застывая на воздухе бурой стеклянистой коркой. Разглядывала их почти с любопытством — так разглядывают чужую вещь, случайно оказавшуюся в ладонях. Руки знахарки, которая хотела вылечить. Руки мясника, который резал по живому.

Где-то под полом, в чёрной глубине, дышал он. Дыхание доносилось вибрацией — едва уловимой дрожью в дубовых сваях. Дрожь проходила через доски, через босые ступни, через лопатки, прижатые к холодной стене. Толчок. Пауза. Долгий, свистящий выдох — скрип старого дерева, когда ветер раскачивает его за верхушку.

Ноги сами подняли её с лежанки. Половицы молчали — впитали столько влаги за зиму, что стали глухими, ватными. В углу, у остывшего очага, стояла кадка с водой. Зачерпнула ладонью — и замерла. Кадка оказалась почти пуста. Она забыла, когда набирала воду. Забыла, когда пила сама. На дне плескалась жалкая горстка — мутная, тёплая, с радужной плёнкой на поверхности. Поднесла ладонь к лицу. Вода пахла пустотой. Так пахнет воздух в заброшенном погребе. Так пахнет то, из чего ушло всё живое.

Рубаха, которую она надела перед первым нырком, всё ещё держалась на плечах — мокрая, холодная, прилипшая к телу. Та самая, его. С кривой вышивкой по подолу, выведенной иглой сотню лет назад. Так и не сняла её. Рубаха стала частью кожи, как шрам на скуле, как обломанные ногти. Она напоминала о нём — о том, кто когда-то сказал: «Ты пахнешь землёй. Я люблю землю».

Потребовалось усилие, чтобы подняться. На ощупь нашла трут и кресало, высекла искру. Огонь занялся с неохотой — дрова отсырели за долгую зиму, от них шёл пар, пахнувший плесенью. Когда пламя наконец лизнуло растопку, по хижине поплыл дрожащий золотистый свет.

С полки спустился глиняный горшок с остатками речной глины — жирной, вязкой, намешанной осенью на дальнем берегу, где ил был синим и пах железом. Ком вытряхнулся на столешницу. Пальцы принялись месить.

Работала молча.

Глина была холодной, неподатливой. Вдавливала в неё пальцы — те самые, с содранными подушечками, ещё утром скребущие его чешую. Холод глины встретился с холодом её ран, и на секунду она перестала различать границу между собой и тем, что мяла в руках. Глина забивалась под ногти, в трещины на коже, смешивалась с сукровицей. Боль шла тупая, почти уютная — знакомая боль работы. Это было про другое. Не про отвержение.

Когда-то, в молодости, Кикимора на дух не переносила этот запах. Запах сырой земли, речного песка, чего-то глубинного, донного. Ей казалось — он въедается навсегда, ей никогда не отмыться, не стать лёгкой и чистой, как русалки с их пенными волосами и прозрачными голосами. Завидовала им — их лёгкости, их свободе, их умению скользить по воде, оставляя лишь круги. А она всегда оставляла след. Всегда была слишком тяжёлой. Слишком земной.

А потом она встретила его.

Он пришёл к ней в первый раз с куском глины в руках. Такой же — синей, жирной, пахнувшей дном. Протянул этот ком, мокрый, холодный, и сказал: «Лепи. Я хочу посмотреть, что ты умеешь». Лепила тогда плошку — кривую, толстостенную, ни на что не годную. Он

взял её в руки, ещё не обожжённую, ещё мягкую, и долго разглядывал. Потом улыбнулся — той самой тяжёлой, медленной улыбкой, похожей на течение реки в половодье.

— Ты пахнешь землёй, — сказал он тогда. — Настоящей. Русалки пахнут пеной. А ты — землёй. Я люблю землю.

Тогда она обиделась. Решила — он говорит, что она грязная. Но он поднёс её руки к своему лицу, вдохнул запах глины, смешанной с её потом, и закрыл глаза. В этом жесте было столько голода — по настоящему, по тому, что остаётся в пальцах, — что у неё перехватило дыхание.

Сейчас сидела на полу, сжимала в руках холодный ком и пыталась вспомнить, как он пах тогда. Вспомнить не выходило. Запах ушёл вместе с ним, вместе с его смехом, вместе с весной.

Плошка рождалась под руками медленно. Сначала — круглое донце, неровное, с вмятинами от пальцев. Потом — стенки, вытянутые щипками. Лепила не просто посудину. Лепила вместилище. Для того, что невозможно передать словами. Для того, что он не сможет отвергнуть, потому что оно не потребует от него ответа.

Когда форма легла, отнесла плошку в печь. Обжигала до звона — до того чистого, высокого звука, который издаёт глина, когда становится камнем.

Дальше началось главное.

Берестяной короб с сушёной ягодой — черёмуха, тёрн, горькая рябина — открылся. Толкла в ступе долго, пока ягоды не превратились в чёрную маслянистую пасту, пахнущую терпко, кисло, летом. Добавила мёд — густой, тёмный, прошлогодний, уже начавший засахариваться. И тогда сделала последнее.

Уколола палец.

Капля крови упала в чёрную массу. Кровь у кикимор болотных густая, тёмная, почти бурая — цвета осеннего торфа. Смотрела, как капля медленно тонет в ягодной пасте, и вспоминала, как её мать учила: «Кровь для связи, глупая. Если твоя кровь в его теле, он почувствует, где ты, даже когда ты уйдёшь за край болота. Он будет знать, что ты жива. Это и есть любовь — знать, что другой жив».

Выложила чёрную густую массу в обожжённую глину. Сверху залила растопленным воском — толстым слоем. Воск застывал, схватываясь матовой плёнкой. Пах дымом и липовым цветом. Прятал внутри концентрат жизни — еду, которую можно впитать кожей, которая не потребует от него усилий.

Запечатала плошку воском. Чтобы он открыл её сам. Чтобы ему не пришлось принимать её помощь из рук в руки. Чтобы он не увидел в её даре долг.

За окном посерело. Сунула плошку за пазуху, прижала к животу. Глина ещё хранила тепло печи — слабое, едва уловимое, как дыхание спящего. Откинула крышку люка и нырнула.

В хибаре Лобасты ночь тянулась долго.

Старуха лежала на жёстком топчане, укрывшись ветхим рядном, и слушала, как болото дышит за стеной. Дыхание было неровным. Прерывистым. Так дышит больной, когда жар спадает, но сил открыть глаза ещё нет. Знала этот ритм. Слышала его каждую ночь — и каждую ночь он становился тише.

Села на топчане. Ноги, обмотанные сухими портянками, опустила на холодный пол. Ведро стояло на столе — там же, где она оставила его вечером. Вода внутри подёрнулась тонкой корочкой льда. Смотрела на лёд и думала о сыне. Не о том, как он уходил — этого она старалась не вспоминать. А о том, как он смеялся. У него был звонкий, захлёбывающийся смех, похожий на весенний ручей. Он смеялся, и вода в ведре шла рябью.

Помнила это. Помнила, как он стоял на пороге — уже высокий, уже с первыми перепонками между пальцев, — и смотрел на реку. «Мама, я не могу гнить. Вода должна течь». Сказал это без злости. Просто сказал. И ушёл.

Лобаста не плакала тогда. Не плакала сейчас. Слезы были где-то глубоко, под слоем тины, под слоем ожидания, под слоем высохших трав. Просто сидела и смотрела на лёд.

— Я ждала, — прошептала она в темноту. — Я думала, переберется.

Лёд в ведре треснул — сам по себе, без причины. Тонкая линия побежала от края к центру. Смотрела на неё и видела: так трескается её надежда. Не рушится. Не исчезает. Просто покрывается сетью тонких, едва заметных линий, которые однажды станут достаточно глубокими, чтобы вода вытекла.

Не вылила воду. Взяла ведро, поставила на пол у порога. Поправила край передника, который за ночь скрутился в жгут. Села обратно на топчан. И стала ждать утро.

Вода в проруби встретила Кикимору вязкостью. Густая, тяжёлая, как жидкое стекло. Нехотя расступалась перед телом, облипала плечи, бедра, лицо. Плыла вниз, цепляясь за дубовые сваи. С каждым метром давление росло — давило на уши, на глаза, на грудную клетку.

Добралась до дна.

Он лежал там же. За ночь белый известковый налёт стал ещё толще. Нарастал, как плесень на забытом хлебе, — слой за слоем, пластина за пластиной. Ил уже начал затягивать его с краёв — серый, мелкий, набивался в складки обвисшей чешуи. Водяной казался частью дна. Огромной мёртвой глыбой.

Но Кикимора заметила кое-что ещё. На краях трещины, где должен быть Источник, ил лежал сухой. Пыльный. Растрескавшийся мелкой сеткой, как пересохшее русло в разгар лета. Вода уходила. Уходила сквозь поры в породе — кто-то невидимый пил болото снизу, жадно, без остановки.

Опустилась на колени перед ним. Взметнулось облако чёрной мути. Достала плоску из-за пазухи. Воск за время спуска размягчился от тепла её тела — стал мягким, податливым.

Поднесла глину к его лицу.

— Ешь. — Голос в воде превратился в глухой, булькающий гул. — Это гуща. Это сила. Открой.

Он лежал неподвижно. Только веки, покрытые известью, дрогнули — едва заметно, как дрожит плёнка на стоячей воде от упавшего листа.

И тогда она почувствовала это.

Её тело излучало тепло. Кожа дышала, сердце гнало кровь, и от неё шло то живое, влажное тепло, которое бывает у всех дышащих существ. А он был абсолютным, звенящим холодом. Холод пустоты. Холод того, что никогда не грели.

Она была тёплой. Он был нулём.

И воск лопнул между ними. Не растаял. Лопнул. По поверхности плоски побежала сеть микроскопических трещин — беззвучных под водой, но Кикимора почувствовала их пальцами, как вибрацию разрушения. Чёрная густая масса вырвалась наружу. Смотрела, как её кровь, её труд, полночи её работы растекается по дну, смешивается с тиной, пропитывает ил. Густая жижа оседала на его обвислых боках, превращаясь в такую же мёртвую грязь.

Он не открыл глаз. Лежал в её еде, как камень в канаве.

Внутри Кикиморы лопнула нить. Спазм — рвущий живот, поднимающийся к горлу. Бессилие. Чистое, физическое бессилие, которое хуже любой боли.

Швырнула пустую плоску. Глина ударилась о его каменную грудь, разлетелась на осколки. Черепки закружились в воде, медленно, как падающие листья, и опустились на ил.

Он не шевельнулся.

Тогда Кикимора рванулась к нему. Инстинкт контроля, древний ужас потери перехлестнул разум. Обхватила его огромные, обросшие мхом плечи, прижалась всем телом — животом, грудью, щекой. Пыталась вдавить в него своё тепло, свою ярость, свою жизнь. Тёрлась лицом о его известковую чешую — шершавую, обдирающую кожу до крови. Пыталась растопить его трением, дыханием, сердцебиением.

— Живи! — кричала она, захлёбываясь. — Я тебя вытащу! Я растоплю тебя!

Вода вокруг них закипела. Это было не тепло. Это была реакция его магии на её вторжение. Защита. Когда боль становится непереносимой, когда прикосновения превращаются в пытку, Водяные забирают из воды всё тепло. Превращают её в лёд вокруг себя — чтобы никто не мог до них добраться. Последняя стена.

Пальцы Кикиморы побелели мгновенно. Кожа на подушечках, и без того содранная до мяса, лопнула, выпуская алые нити. Нити тут же замёрзли чёрными льдинками от чудовищного перепада температур. Попыталась отдёргнуть руки — и застряла. Кожа примёрзла к его известковой чешуе. Рванулась — и оставила на панцире клочья собственной плоти.

Тогда он медленно приоткрыл рот. Челюсть двигалась с трудом, ломая известковые наросты в уголках губ. Из горла вырвался низкий, утробный гул.

— Уходи.

Никакой злости. Никакой ненависти. Констатация. Ты делаешь мне больно. Я разучился впускать.

Но она держалась. Давила, пытаясь своим теплом пробить его броню.

И тогда Водяной дёрнулся. Резко, хищно, как зверь, попавший в капкан. Его глаза открылись — впервые за долгое время. В них стоял первобытный ужас. И ярость. Ярость загнанного.

Он увидел не жену.

Увидел всех, кто когда-либо приходил к нему за теплом и кривил нос. Всех, кто брал его силу и уходил, оставляя его пустым. Всех, кому он был нужен только как источник. Как печь. Как вещь.

Её тепло не было для него любовью. Оно было потреблением. Рукой, которая лезет в печь, чтобы достать уголь.

— УЙДИ!

Его голос ударил течением. Вода сжала её со всех сторон, стиснула грудную клетку, выдавила воздух. Оттолкнул её всем телом — массивным, каменно-тяжёлым.

— НЕ СМЕЙ МЕНЯ ГРЕТЬ! — Вода вокруг его рта стала чёрной от ярости. — ТЫ ТОЖЕ ПРИШЛА ТОЛЬКО ЗА ТЕПЛОМ?! Я НЕ ПЕЧКА! К ПЕЧКЕ ПРИХОДЯТ ЗА ДРОВАМИ!

Течение швырнуло её вверх.

Но за секунду до того, как вода унесла её, Кикимора увидела. Его рука — скрюченная, покрытая известью, та самая, что только что оттолкнула её, — дёрнулась в её сторону. Непроизвольно. Инстинктивно. Как дёргается рука, чтобы поймать падающую чашку. И тут же отдёргнулась обратно. Сжал её в кулак, прижал к груди. Захлопнулся.

Это длилось одно мгновение. Но она увидела.

А потом течение швырнуло её вверх. Кувыркалась, как щепка, ударяясь о сваи. Вода вышвырнула её в прорубь. Ударилась головой о дубовую крышку люка. Хруст. Белые искры в глазах.

Вылетела на доски хижины. Закашлялась чёрной, вонючей жижей.

Крик Кикиморы пробил толщу воды, прошёл сквозь дно, сквозь корни ив и достиг дальнего плёса.

Старая выдра подняла голову. Лежала в логове под корнями, свернувшись клубком, и слушала, как болото стонет. Крик был женским — выдра знала этот голос. Так кричала та, что жила в хижине на сваях. Та, что ныряла к нему каждое утро. Та, что ещё не поняла: вода не отвечает.

Выдра выбралась из логова. Проплыла вдоль берега, туда, где чёрная вода подходила к самому настилу. Видела, как Кикимора вылетела из проруби — мокрая, в рваной рубахе, с белыми пальцами. Видела, как она выползла на берег, упала на колени в грязь и замерла. Выдра смотрела на неё и думала о том, что люди — странные существа. Они быются о стены, которых

не пробить. Они кричат в пустоту, которая не отвечает. Они лепят плоски, которые разбиваются. И всё равно возвращаются.

Выдра нырнула. Вода сомкнулась над её головой — холодная, густая, мёртвая. Рыбы не было. Она знала, что рыбы нет. Но всё равно ныряла. Каждое утро. По привычке.

Лобаста услышала крик на рассвете.

Сидела на пороге, перебирая сухие стебли плакун-травы, когда звук докатился до её хибары. Не слова — вой. Так кричат те, кто ещё не понял, что вода не отвечает. Лобаста замерла. Пальцы, скручивающие стебель, остановились.

Знала этот крик. Сама так кричала — сто лет назад, когда сын ушёл, а она осталась на пороге и смотрела на реку, пока голос не сел, пока глаза не высохли, пока внутри не осталось только ведёрко с мутной водой и привычка ждать.

Поднялась. Подошла к краю настила. Вода у свай ушла ещё на полпальца — видела это по мокрой отметине на дереве. Болото умирало. А там, у дальнего омута, билась та, что ещё надеялась его спасти.

— Бедная касатка, — прошептала Лобаста. — Ты ещё думаешь, что любовь — это сеть. Что если сплести достаточно крепко, он не уйдёт.

Посмотрела на свои руки — сухие, в коричневых пятнах, с обломанными ногтями. Тоже когда-то плела. Собирала травы, варила отвары, раскладывала обереги по углам. Думала: если достаточно сильно любить, он вернётся. Он не вернулся. Река текла. Сын уплыл. А она осталась — с ведёрком, с травами, с порогом, который не переступала сто лет.

Вернулась в хибару. Села на лавку. Ведро стояло у порога — там же, где она оставила его ночью. Лёд на поверхности растаял, но вода осталась мутной. Смотрела на неё долго. Потом взяла ведро и поставила на стол.

Не вылила воду. Но перестала её черпать.

Выползла наружу. Соскользнула с крыльца прямо в грязь. Упала на колени. Сил кричать уже не осталось. Сил рвать на себе волосы — тоже. Просто стояла на коленях в холодной, мокрой глине, и её руки — белые, как мел, с содранной кожей, с обломанными ногтями — безвольно лежали на бёдрах. Рубаха, его рубаха, насквозь промокла и прилипла к телу.

И в этой тишине, под мерное чпоканье болотных пузырей, послышался звук. Тихий, непрекращающийся плеск — но не волн, не ряби. Так журчит вода, когда вытекает из дырявого ведра. Так уходит вода из ванны, когда вынимают пробку. Подняла голову, но ничего не увидела — только чёрную маслянистую гладь. Звук шёл отовсюду и ниоткуда. Болото утекало.

Смотрела на свои руки. Впервые — не на то, что они сделали с ним. А на то, чем они были. Хотели дать. Но требовали. Не дарили тепло — швыряли его, как камень, и ждали, что он поймает. Хотели, чтобы он стал прежним — ради неё. Ради того, чтобы она снова могла чувствовать себя любимой, нужной, живой.

Пришла за теплом. Как все.

Эта мысль не оформилась в слова. Легла где-то на уровне живота — холодный, твёрдый ком, медленно опускающийся вниз, к земле. Кикимора не плакала. Слез не было — вся вода ушла туда, в чёрную прорубь. Но внутри что-то сдвинулось. Не исцелилось — рано. Но перестало давить на грудную клетку.

Упёрлась ладонями в грязь. Медленно, мучительно, как сломанная кукла, которую кто-то пытается поставить на полку, выпрямилась. Сначала — на четвереньки. Потом — на колени. Потом — встала.

Постояла, покачиваясь. Вдохнула холодный, пахнущий торфом воздух. И пошла обратно в дом. Просто в дом. Потому что больше идти было некуда.

А там, на дне, в самой глубокой яме, Водяной лежал неподвижно. Вода вокруг него всё ещё была холодна — он оставил её такой. Обратно тепло не забрал.

Осколки плошки лежали на иле — неровные, острые, уже подёрнутые серой плёнкой осадка. Рядом с ними медленно оседала чёрная густая масса — её кровь, её труд, её полночи.

Не протянул руку. Не подобрал осколок. Не прижал к груди.

Но он смотрел.

И это было больше, чем он позволял себе обычно.

На восточной границе болота туман сгустился. Перевалил через гряду сухих кочек и пополз дальше — медленно, неумолимо. Там, где он проходил, мох серел и рассыпался в труху. Раковины-беззубки, пустые и лёгкие, поднимались в воздух и кружились в медленном, беззвучном танце. Навь занимала территорию.

Филин на сухой иве расправил крылья. Смотрел на туман и знал: скоро. Ещё не сейчас, но скоро. Ухнул — протяжно, низко. И замолк.

Болото ждало. Оно всегда умело ждать.

### Глава 3. Голос в голове и земля под ногтями

Утро сменило цвет с чёрного на свинцовый. Серая водянистая пелена просочилась в щели ставней, повисла в воздухе холодным туманом и осталась — плотная, мокрая, как компресс на груди больного. Света такой туман не приносил. Он забирал остатки.

Кикимора открыла глаза и сразу почувствовала правую скулу.

Забыла, как ночью переползла с берега в хижину. Тело превратилось в один сплошной тупой синяк, мышцы спины задеревенели, будто она таскала камни. Но хуже всего была щека. Там, где вчера кожа встретилась с его абсолютным холодом, теперь поселилось что-то другое. Кожа лопнула, обнажив тонкий влажный слой — прозрачное, сочащееся. Рана дышала. Каждое движение челюсти отдавалось тупой саднящей пульсацией — кто-то приложил к щеке лёд и держал, держал, держал. Ты прикоснулась к тому, что тебя отвергло. Оно оставило метку — открытую, мокрую.

Хижина выстыла до дна. Мертвецкая сырость стояла в углах, собиралась каплями на потолочных балках, стекала по стенам мутными дорожками. Воздух стал таким плотным, что каждый вдох приходилось проталкивать в лёгкие.

Села, скрипнув суставами, и посмотрела в угол — туда, где лежал мешок с травами. Вчерашняя гордость. Её инструменты спасения. Сушёная крапива, зверобой, болотный багульник — собирала их всё лето, вязала в пучки, перестилала берестой, везла сюда, чтобы варить ему отвары, окуривать спальню, гнать из воды гнилостный дух. Сейчас травы превратились в жалкое зрелище. Тяжёлая мёртвая влага, идущая от проруби, пропитала их насквозь. Листья раскисли, почернели, слиплись в скользкую массу. Пахли прелой листвой, мокрой псиной, начинающей гнить бумагой. Лето ушло. Осталась труха.

Подошла к мешку. Пальцы, обмотанные грязными тряпками, дрожали. Вытащила пучок крапивы. Листья расплзлись в ладонях чёрной склизкой кашей.

— Высушу. — Голос хриплый, как трение камней. — Сейчас.

Бросилась к печи. Схватила охапку мокрых трав, принялась пихать на решётку. Схватила кресало. Ударил. Искра проскочила, упала мимо трута. Ударил ещё. Пальцы отказывались слушаться — чужие, опухшие, с почерневшими ногтями. Кресало выскользнуло, больно ударило по костяшке.

Щелчок. Щелчок. Щелчок.

Крошечный огонёк вспыхнул на мгновение и погас. Дым от трута пошёл вниз — стелился по полу, тяжёлый, едкий. Сырость в хижине стояла такая плотная, что огонь не мог родиться. Воздух сам стал водой. Водяной на дне высасывал тепло из стен, из вещей, из её дыхания. Превращал дом в склеп.

Опустилась на колени перед холодной печью. В горле встал ком — сухой, твёрдый, как непроглоченный камень. Слез по-прежнему не было. Был спазм. Физическое ощущение того, что её границы растворяются. Травы гниют. Огонь умирает. Руки отказывают. Она — знахарка, которая не может зажечь очаг.

Медленно, с трудом поднялась и подошла к сундуку. На самом дне, под слоем бересты, лежала шкатулка. Маленькая, круглая, из светлого дерева. Открыла крышку. Внутри лежали ленты. Три узкие шёлковые полоски: синяя, как небо в редкий ясный день; зелёная, как молодая осока; белая, как пена. Выцветшие, с потёртыми краями.

Взяла синюю ленту. Шёлк оказался мягким, холодным. Когда-то, в молодости, она вплетала такие ленты в косы. Делала это задолго до него — для себя. Чтобы чувствовать себя красивой. Чтобы чувствовать, что она — это не только грязь, не только болото.

Стояла перед маленьким мутным зеркалом. Пальцы, содранные до мяса, отказывались слушаться. Но пыталась. Лента выскользнула. Упала на пол.

Нагнулась — и увидела своё отражение.

На неё смотрела чужая женщина. С открытой сочащейся раной на скуле. С обломанными чёрными ногтями. С глазами, в которых погас свет. Старая брошенная кукла, найденная в грязи.

Подняла ленту. Сжала в кулаке. Шёлк был мягким, живым, он напоминал ей о той, кем она была до того, как стала тем, кто всё тащит, всё чинит, всё греет.

Не заплела косы. Не стала вплетать ленту. Просто положила её обратно в шкатулку, закрыла крышку и поставила на место. Но в груди, в той самой пустоте, где только что лежало бессилие, шевельнулось что-то тёплое. Ещё не надежда. Просто память. Память о том, что она — ещё и та, кто когда-то любила синий шёлк.

И в этой тишине, под мерное чпоканье болотных пузырей за окном, в голове заговорил голос. Это была не Яга. Яга сидела далеко, в своей избе за тридевять земель. Этот голос жил внутри. Вырос в ней за века, впитался с каждым уроком, с каждой затрещиной. Её собственное, выжившее, циничное «я». Голос, пахнувший уксусом, сушёной полынью и старым деревом. Звучал прямо в черепной коробке, отдаваясь в висках тупой болью.

«Ты кого кормишь, дурочка?»

Кикимора зажмурилась. Голос был сухим.

«Травы гниют. Огонь не горит. Ты пытаешься обогреть колодец. Ты пытаешься накормить камень. Разжимай зубы, мокрица. Он не ест. Он не греется. Он лежит и гниёт, и ты вместе с ним».

— Заткнись, — прохрипела она.

«Заткнись, — передразнил голос, и в нём послышался стук деревянного пестика о бронзовую ступку. — Тебе нужно действие. Тебе нужно, чтобы вокруг был порядок. А тут порядок какой? Гниль. Ты не можешь принять, что твоя магия здесь бессильна. Что твоя любовь здесь — лишняя».

— Я могу его вытащить. — Голос дрогнул.

«Можешь? Или тебе просто страшно признать, что ты опоздала? Тебе страшно перестать суетиться, потому что если ты остановишься — ты поймёшь, что он умер. А если он умер, то кто ты? Вдова? Хозяйка пустого болота? Ты — никто».

Паника захлестнула горло. Липкая, чёрная, как вода в омуте. Не выдержала. Не могла больше сидеть в этой хижине, которая пахла мокрой смертью и её собственным бессилием. Нужно было к нему. Но вода отторгала её — каждый раз, когда она ныряла, он закрывался, выталкивал, замораживал. Вода стала стеной.

Но оставалась земля.

Помнила. Сто лет назад он выходил здесь — на этом самом берегу. Тогда ещё не было ни свай, ни хижин, только дикий берег, заросший осокой и молодым ивняком. Выходил из воды, и земля под его ногами становилась тёплой. Касался камней, и камни помнили его тепло ещё много дней. Если она найдёт это место — найдёт его. Не телом, так через память вещей. Через след, который он оставил, даже если сам забыл.

Рывком встала. Голова закружилась. Упёрлась рукой в дверной косяк, толкнула дверь.

На дальнем плёсе выдра проснулась от тишины. Не от звука — от его отсутствия. Болото замолчало. Даже пузыри перестали лопаться. Даже ветер перестал шевелить сухие ветви ив. Тишина стояла такая плотная, что её можно было резать ножом.

Выбралась из логова. Камень, на котором она обычно сидела, стал выше. Вода ушла ещё на палец за ночь — выдра видела это по мокрой полосе на сером граните. Рыбы не было. Рыба ушла вниз по течению, туда, где Быстрая Река ещё дышала, где вода ещё текла. Знала: скоро уходить и ей. Но медлила. Помнила Водяного молодым. Помнила, как он выныривал из омута и вода вокруг него кипела жизнью. Ждала. Не умела не ждать.

Филин на сухой иве повернул голову на восток. Туман там сгустился ещё сильнее. Уже не туман — стена. Белёная, холодная, пахнущая чужим. Навь подошла вплотную к границе болота. Ещё день. Может, два. И она шагнёт дальше.

Филин ухнул. Один раз. Коротко. Предупреждение.

Лобаста стояла на пороге и смотрела на восток.

Видела стену тумана. Видела, как он клубится, переваливается через дальние кочки, как мох под ним сереет и рассыпается. Знала, что это. Знала, что придётся. Когда духи в разладе — вода уходит. Когда вода уходит — Навь приходит. Закон. Не добро. Не зло. Закон.

Вошла в хибару. Ведро стояло на столе. Вода в нём была мутной, с радужной плёнкой. Смотрела на неё долго. Помнила, как сын смеялся. Помнила, как он стоял на пороге и смотрел на реку. «Мама, вода должна течь». Сказал это без злости. Просто сказал. И ушёл.

Взяла ведро. Подошла к порогу. Остановилась.

— Я ждала. — Голос звучал сухо, но ровно. — Я думала, переберется. Я думала, Река принесёт его обратно. Я думала, если я буду стоять на пороге, он найдёт дорогу.

Замолчала. Пальцы сжали дужку ведра. Костяшки побелели.

— Река не виновата. Она течёт. Мой выбрал течение. А я выбрала гниль.

Выплеснула воду на землю. Мутная жижа ударилась о сухую почву, растеклась тёмным пятном, впиталась. Ведро опустело. Лобаста смотрела на мокрое пятно, и внутри неё что-то лопнулось — не со звоном, не с болью, а с тихим, едва слышным треском. Так трескается лёд на ведре весной. Так трескается надежда, когда становится слишком тяжёлой, чтобы её держать.

Поставила ведро на землю. Развернулась. И вошла в хибару. Не на порог — внутрь. Закрыла дверь.

Сошла с крыльца прямо в грязь. Сапоги чавкнули, засосали ноги по щиколотку. Пошла напрямик, к краю воды, туда, где земля уходила под чёрную маслянистую гладь — туда, где, как ей казалось, он выходил когда-то.

Упала на колени прямо в ил. Холод пробил юбку, впился в кожу острыми иглами.

Опустила руки в грязь. Начала копать.

Сначала ил был мокрым, вязким, забивался под ногти, облипал запястья тяжёлыми холодными комьями. Пахло вековой тленостью, разложившейся листвой — привычный запах болота. Скребла, рвала, выдирала куски чёрной жижи. Ил обжигал пальцы хуже кислоты, проникал в трещины на коже, смешивался с сукровицей. Но продолжала — не затем, чтобы прорыть ход, а затем, чтобы найти. Камень. След. То, что связывало бы их здесь, на поверхности, даже если в глубине он закрылся.

А потом пальцы провалились в пустоту.

Замерла. Под слоем мокрой грязи — в ладонь толщиной — ила не было. Вообще. Только сухая лёгкая труха, рассыпающаяся от прикосновения, как пепел. Как старая кость, из которой ушла вся влага. Сунула руку глубже — и нащупала раковину. Беззубку. Пустую. На внутренней стороне створки, присохший к перламутру, лежал крошечный комочек — то, что осталось от улитки. Мёртвой. Жизнь ушла отсюда неделю назад. Может быть, месяц.

Смотрела на раковину в своей ладони. Потом перевела взгляд на яму. Мокрая грязь сверху — и сухая пустота снизу. Болото было мёртвым внутри. Сверху ещё держалась видимость.

И тогда она почувствовала дрожь.

Вибрация. Слабая, ритмичная. Шла откуда-то из-под земли, из-под торфа, из-под корней. Частая, мелкая, непрекращающаяся. Так дрожит песок, когда вода уходит из-под него. Так дрожит пустота, когда её заполняет течение. Что-то под землёй двигалось. Что-то, чему здесь быть не полагалось.

«Ты ищешь то, чего нет, — зашептал голос в голове. — Его следов больше нет. Они стёрты. Колай — не докопаться. Здесь только грязь и пепел».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.